

ционные и формализованные, большое внимание уделено последним. В пособии показаны суть и разновидности приемов формализации сведений исторических источников, их пределы и ограничения. Подробно рассмотрены разновидности формализованных методов: метод унифицированной анкеты, метод контент-анализа. Отдельный раздел посвящен специальным методам анализа исторических текстов: информативно-целевому, семиотическому, дискурсивному анализу, психоанализу документов. По сути, в этом разделе речь идет об использовании для анализа текстов исторических документов методов смежных дисциплин: лингвистики, семиотики, антропологии, психологии и др. Отдельная глава посвящена использованию социологического инструментария в исторических исследованиях: методам устной истории, методики проведения социологических исследований, анкетирования и интервьюирования участников и свидетелей исторических событий. Показаны богатейшие возможности расширения с их помощью информационной базы исследования, а также правила, процедуры их реализации и ограничения. Автор не только излагает теорию, но и оценивает практику применения социологических методов, в частности на примере реализации международного историко-социологического проекта «Сельская Россия в XX в.».

В книге Л.Н. Мазур обосновывается роль математизации научного познания в повышении объективности исторического исследования, тщательно разрабатываются и творчески адаптируются применительно к различным его типам математико-статистические, социологические и другие междисциплинарные методы, порожденные ими конкретные методики и процедуры. Значительное место отводится

использованию компьютерных технологий (баз данных, геоинформационных, мультимедийных и др.), что отвечает требованиям современной информационной среды в науке и вузовском образовании.

Материал книги нацелен на овладение студентами информационной культурой и компетенцией специалиста, способного применить знания в практической профессиональной деятельности.

**О.С. Поршнева,**  
**доктор исторических наук**  
**(Уральский федеральный университет)**

#### Примечания

<sup>1</sup> *Медушевская О.М.* Теория и методология когнитивной истории. М., 2008; *Медушевский А.Н.* Когнитивно-информационная теория в современном гуманитарном познании // *Российская история.* 2009. № 4. С. 3–22.

<sup>2</sup> *Ковальченко И.Д.* Методы исторического исследования. М., 2003. С. 40.

<sup>3</sup> Такое истолкование исторического факта дано, в частности, И.Ф. Коломийцевым (*Коломийцев В.Ф.* Методология истории. М., 2001. С. 38–42).

<sup>4</sup> *Юсим М.А.* Нормативная лексика историка // *Теории и методы исторической науки: шаг в XXI век.* М., 2008. С. 65.

<sup>5</sup> О роли метафор как эпистемологических категорий см.: *Вжосек В.* Историография как игра метафор: судьбы «новой исторической науки» // *Одиссей. Человек в истории.* М., 1991; *он же.* Метафора как эпистемологическая категория (соображения по поводу дефиниции) // *Одиссей. Человек в истории.* М., 1994.

<sup>6</sup> *Козеллек Р.* Социальная история и история понятий // *Исторические понятия и политические идеи в России XVI–XX вв.* СПб., 2006; *История понятий, история дискурса, история метафор.* М., 2010.

## Диалог с прошедшим столетием О воспоминаниях академика Ю.А. Полякова\*

К мемуарам, написанным современниками, не принято относиться с особым вниманием и, естественно, с почтением. Иной раз они дают поводы для злословия: гордыня заела. Иное дело – воспоминания признанного корифея, мастера пера с «неожиданной», как выясняется, судьбой, написанные за год до своего 90-летия. Историческая память историка-долго-

жителя достойна специального изучения: «субъективный» и «объективный» подходы напряженно и причудливо сталкиваются между собой; непосредственный опыт вопреки профессиональным навыкам взрывает многие устоявшиеся представления; автор невольно проговаривается, перечит самому себе, провозируя вторжение в его дискурс сторонних догадок. Все это естественно: прикрываясь щитом самоиронии и «забалтывая» читателя, историк-мемуарист пытается ответить на главный вопрос: почему я прожил именно *такую*

\* *Поляков Ю.А.* Минувшее. Фрагменты: (Воспоминания историка) / Институт российской истории РАН. Кн. 1. М.: Собрание, 2010. 231 с., ил.

жизнь, зачем все было так, а не иначе, почему мои труды стали такими, а не другими. Он не просто вспоминает, он пытается объяснить *свое* время, *свою* среду исторического обитания, отлично сознавая, насколько неуклюжими предстанут попытки «улучшить» собственную биографию и отретушировать портрет своего поколения в глазах «проницательных» коллег (с ними заодно можно и «доспорить»).

Ситуация вызывает не просто «философский интерес», но и особого рода любопытство. История – это процесс разоблачения человеческой «хитрости». Историк это знает. Поэтому особенно любопытно, каким он предстанет в «автопросопографическом» сочинении. Как смотрится его текст в качестве источника? Что автор «забыл»? Что умело «подправил»? В чем можно усомниться? Известно ведь, что жизнь историка протекает одновременно и подле истории, и в ней самой.

«Многое из того, с чем я сталкивался, так и осталось для меня непонятным. И напротив, многое из увиденного и казавшегося тогда загадочным, сейчас представляется простым и ясным, – отмечает Юрий Александрович. – В этих случаях приходится удивляться другому – как я и мои коллеги в те годы не понимали того, что сейчас является совершенно очевидным. Впрочем, происходящее ныне тоже порой кажется непонятым, а для потомков будет проще пареной репы» (с. 9). Увы, жизнь оказывается настолько неожиданной, что даже проницательным людям порой приходится уповать на время, которое само расставит все по своим местам. Но так не бывает – историк всегда одинок перед лицом не только прошлого, но и собственной исследовательской судьбы.

Лично мне историк Ю.А. Поляков всегда казался блестящим профессионалом-марксистом, рафинированным интеллигентом, однако его работы выглядели излишне «правильными», подобно сочинениям школьника-медалиста, а потому «подозрительными». Хотелось задуматься и над другим: до какой степени историк способен понять ту – в данном случае парадоксальную и трагичную – эпоху, в которую он был заброшен, на основании опыта своего социального окружения, сдобренного «проницательностью» последующего времени.

Будущий историк вырос в русской «посткупеческой» среде – потомки героев первоначального накопления стремительно превратились в интеллигентов. «Союз кошелька с художественным полотном или поэтическим сборником был явлением желанным», – пишет автор (с. 12). Именно таким путем формируются новые элиты – они чувствуют себя

обязанными преуспевать во всем. Но после революции их ожидал культурный шок: «мощное поколение Поляковых, составлявшее часть среднего класса» (с. 17), предстало «примазавшимися буржуями», о чем люди, рвавшиеся в новую элиту, без церемоний им напомнили. В связи с этим будущий историк научился «излагать социально-политически красиво» свои анкетные данные (с. 212). Не думаю, что это особенно помогло в карьере: мне приходилось слышать о коллегах-стукачах, строчивших в ЦК КПСС доносы на потомка «банкирского дома Поляковых». Родители мемуариста были далеки от восторга перед советской властью, однако они искренне приняли ее как единственно возможную альтернативу революционному лихолетью. «Время – великий фактор адаптации – за XX век не раз меняло психологию различных категорий населения», – пишет по этому поводу Юрий Александрович (с. 31). Рискну поспорить, этому есть куда более простое объяснение.

За полстолетия Россия стремительно, но неуклюже въехала в эпоху, именуемую капиталистической, которая тут же переросла – по забытой терминологии – в «империалистическую». Дабы не смущать читателя марксистскими терминами, обращусь к «авторитету» (я вовсе не его поклонник) Н.Д. Кондратьева: всякая технологическая революция до такой степени уплотняет и усложняет информационное пространство, что люди, народы, страны, государства начинают вести себя «непредсказуемо». Разумеется, перевороты и смуты происходят не везде; эволюционно модернизирующиеся социумы относительно устойчивы, «застойная» среда, напротив, становится взрывоопасной. Опыт 1920-х гг. подсказывает, что даже тогда наиболее взбаламученными и агрессивными по отношению к верхам были рабочие и крестьяне; «бывшие», напротив, адаптировались к новым обстоятельствам, превратившись в недурно оплачиваемых «спецов». Их положение не было безысходным: работа находилась, многие породнились с номенклатурой (с. 31–32). Ну а люди из этой среды, родившиеся после революции, действительно, подчас «автоматически входили в новую жизнь» (с. 31), хотя к концу 1920-х гг., как полагает Юрий Александрович, «контрреволюционный потенциал в стране оставался значительным», что сказалось позднее на поведении людей, добровольно оставшихся на оккупированных немцами территориях (с. 34, 188). Мне же, в отличие от мемуариста, представляется, что этот «потенциал» был мнимым и казался пугающим лишь неуверенной в себе власти; постреволюционное смирение «бывших» перед новыми правителями, чему

в воспоминаниях приведена масса примеров, абсолютно преобладало. «Контрреволюционные», точнее, антипартийные интенции исходили вовсе не от «бывших», а от тех, во имя которых революция делалась – от ставших неприкаянными рабочих и беднейших крестьян. Остальные умели и сумели приспособиться, ибо понимали: стране нужен Хозяин, а они могут надеяться только на самих себя.

Вовсе не удивительно, что юный выходец из «буржуазной» среды, росший без «бабушек и дедушек», стал марксистом. Сам он объясняет это «слабостью семьи». Вновь осмелюсь усомниться. В России конца позапрошлого – начала прошлого века *все* семьи оказывались «слабыми»: много в периоды смены эпох не бывает. Своеобразную внутреннюю революцию в 1920-х гг. (как и ранее) переживали многие молодые люди из «хороших семей» (что не помешало некоторым из них со временем проделать обратную эволюцию): догматизирующий марксизм «гармонизировал» в людских умах видимое и воображаемое, реальное и идеальное, наконец, науку и утопию. Возник величайший соблазн для всякого мыслящего человека. Это проиллюстрировал и сам мемуарист, рассказав о том, что сын его дяди Сергея Александровича, полиглот, поэт и издателя «декадентской» литературы, комсомолец Александр Сергеевич Поляков (р. 1906) в 1920-х гг. стал «пролетарским оппозиционером». Для того чтобы гордо и открыто заявить об этом, мало было «научного» знания – нужна подлинная революционная вера. Увы, она становилась излишней. В глазах тогдашних властей неуправляемый революционер автоматически превратился в троцкиста, что с готовностью подтвердили «преданные партии» коллеги в 1933 г., а затем и следователи НКВД. Его исключали из комсомола (и восстанавливали вновь), арестовывали, высылали. И все же ему «повезло»: последний раз он оказался под следствием в 1935 г. и потому легко отделался – «всего» 4 года ссылки в Якутск, где он, если верить официальной справке, умер в начале 1940 г. В водовороте сотворения мифа обычно гибнут самые искренние люди – они пытаются выступать самостоятельно, забывая, что в России решающее слово остается за властью. «Государство допускает, чтобы граждане играли в свободу, но серьезно помышлять о свободе не стоит» (М. Штирнер).

Российский конфликт отцов и детей, на мой взгляд, легко объясним: первые слишком привыкли бездумно служить государству, вторые, в ответ, наивно устремлялись к «свободе» и «новым» идеалам. Остро сказывался и эмоциональный фактор: отец Александр Васильевич, успешно практикующий врач,

уволенный в 1929 г. из Среднеазиатского государственного университета, тем не менее, побывав на строительстве Ферганского канала (врачей направляли туда в порядке мобилизации), одобрил советскую действительность. В годы войны он работал главным хирургом госпиталя, вступил в партию, умер в 1958 г. заслуженным врачом Узбекистана и орденосцем. Мать Лидия Евгеньевна, напротив, долго оставалась настроенной антисоветски и не понимала собственного сына, зато во время войны стала «жадно ловить каждое слово сталинских приказов». «Воистину неисповедимы извилистые пути нашей психологии», – констатирует мемуарист (с. 24). И все же в экстремальных обстоятельствах так называемый коммуникативный разум одерживает верх над прежними эмоциональными установками. Историк не свободен ни от семейных уз (даже отчаянно порывая с ними), ни от страхов своего поколения (искренне желая от них избавиться), ни от иллюзий своего времени (при внешне скептическом отношении к ним), ни, тем более, от гигантского давления *longue durée* (непреренно желая подняться над ним). И единственной панацеей от «грехов молодости» может стать профессиональная умудренность зрелого возраста.

Разумеется, спор с мемуаристом бесплезен – все мы живем под властью «принципа паралакса». «То, что называется истиной, всегда в большей или меньшей степени включает в себя ошибку – ошибку, на которую каждая эпоха имеет право и без которой она не может обойтись» (Х. Ортега-и-Гассет). Всякое время содержит свой набор характерных прозрений и заблуждений, задача историка – уловить взаимосвязь между ними. Кстати сказать, в самом начале научной карьеры автору это удавалось блестяще (с. 209–210).

Возможно, наиболее трогательные страницы воспоминаний посвящены «дяде Сереже» – С.А. Полякову (р. 1874), видному деятелю Серебряного века, математику по образованию, культуртрегеру по призванию. Создается впечатление, что он – своего рода *alter ego* мемуариста, нереализованное в силу «объективных» причин. Возможно, его фигура идеализирована, но кому не импонирует образ человека, чуравшегося политики, но сохранявшего при этом твердые убеждения и стойко переносившего жизненные невзгоды. Бывшему московскому меценату пришлось поневоле поколесить по всей стране и, наконец, упокоиться в Казани весной 1943 г. О Серебряном веке русской культуры написано немало. Мне думается, здесь не обошлось без восторженных преувеличений: и в прошлом, и сегодня нам нужен миф о благодатной для российской

имперской культуры эпохе. Как бы то ни было, культура дореволюционной России была достаточно мощной, чтобы с помощью своих малозаметных подвижников и их тайных последователей пережить большевиков.

«Узбекское детство» автора (будущий историк был спасен молоком кормилицы-узбечки, а первые 10 лет жизни прожил в Ташкенте) запомнилось не только благоуханием экзотики, но и бытовыми контрастами: дешевизна жизни, женщины в парандажах, натурализовавшиеся военнопленные-австрийки, школа им. Песталоцци, страхи перед басмачами, похороны осенью 1931 г. погибшего в боях с ними красного командира. Хватало «экзотики» и в Москве, куда Юрий Александрович с матерью вернулся после распада семьи: коммуналки в «барских» домах, странные похороны жены Сталина, школа в знаменитом особняке фон Мекков. В то время автор ничуть не задумывался над тем, что последний хозяин школьного здания «всего три года назад был обвинен в борьбе против нашей нынешней жизни и казнен» (с. 125, 127). Таковы особенности детского мировосприятия, которое, между прочим, иной раз поражает целые поколения.

Итак, стране было приказано жить будущим, и этот приказ совпал с естественными устремлениями юности. Но почему? Какой незаметный случай перевернул детскую психику, сбил программу социального поведения, подсказанную ближайшим окружением, навязав особую модель адаптации? Об этом воспоминания умалчивают. Не будем задавать нескромных вопросов и мы.

Как бы то ни было, в 1920-х гг. жизненные тяготы молодым людям казались временными: «Мы знаем, видим цель и в каких дворцах мы будем жить и работать, в каких санаториях и домах отдыха, на берегу моря и прекрасных рек отдыхать» (с. 124). К тому же, по мнению мемуариста, «Сталин был великий мастер превращения неудач в победы» (с. 123) – гибель «Челюскина» превратилась в торжество едва ли не всеобщего «спасения»; в столице проектировались и возводились дворцы – и подземные, и высотные. Хочется добавить: мы все еще живем в стране «потемкинских деревень», а потому историком надо основательнее вглядываться в неофициальные источники.

Но более всего меня впечатлил рассказ о том, как в первой половине 1930-х гг. школа «шефствовала над заводом». «Однажды вместо уроков... поехали всем классом на завод – помогать борьбе с прогульщиками», – вспоминает Юрий Александрович. Как и положено, заводской начальник произнес речь: «Перед ребятами стыдно!» После этого школьники «вручили отстающей бригаде рогожное

знамя» и прокричали: «Позор прогульщикам!» (с. 127). Картина почти символичная: по мере движения к социализму государство «диктатуры пролетариата» оставило класс-гегемон без естественных стимулов к труду, а потому пришлось прибегнуть к услугам нового поколения, неуклонно погружаемого в мир иллюзий. Сам же будущий академик за успехи в учебе получил премию – маленькую, со спичечный коробок, книжку-гармошку «Шесть условий товарища Сталина». Сегодня все это кажется абсурдным. По-своему ощутил это сам мемуарист, пытавшийся сочинять «правильные» стихи: «Одновременное подражание Пушкину и Демьяну Бедному не так плодотворно, как могло показаться» (с. 130).

Вероятно, наибольшее любопытство историка вызовет вопрос о том, как люди 1930-х гг. воспринимали «сталинский» террор. У меня из собственного детского опыта (первая половина 1950-х гг.) выросло впечатление, что репрессии казались чем-то вроде случайных несчастий, которые непременно происходят с *другими*, – это казалось «нормой» существования. Разумеется, все зависит от социального угла зрения и личности мемуариста. При этом приходится учитывать, что подростки и юноши живут в своем особом мире.

Юрий Александрович страдал обычными комплексами «умного» ребенка, отчужденного от обычной подростковой среды. Сказывалось отсутствие отца (он жил в далеком Самарканде) и соответственно недостаток контактов с взрослой мужской средой; мешал физический недостаток (сильная близорукость и, главное, очки воспринимались сверстниками как показатель неполноценности). Разумеется, «вялость и малоподвижность» компенсировались и успехами в учебе, и комсомольской работой, и театральной самодеятельностью – так считает сам автор. Как бы то ни было, шансов застрять в фантазийном пространстве между «проклятым прошлым» и «светлым будущим» – этим главным, на мой взгляд, «достижением» советской эпохи – у Юрия Александровича было много больше, нежели у среднего человека его поколения.

Конечно, из такой «щели бытия» невозможно было понять, «почему герои Октября стали шпионами»? Зато легко было усвоить, что «империалисты ненавидят социализм», «где так вольно дышит человек», а «народ стоит горой за советскую власть» (с. 159). Главное же в том, что люди этого поколения *не могли не верить* в Сталина – иной веры им не было оставлено. И если это имя встречается на страницах воспоминаний довольно редко, то, возможно, это происходит от разочарования в идоле, рожденном воображением человека, не

находящего самостоятельного выхода из лабиринта российского исторического бытия.

Конечно, советская система не была ни «тоталитарной», ни даже «командно-административной» – такое трудно вообразить применительно к среде, пораженной патологической боязнью ответственности на всех управленческо-исполнительных уровнях. Система была подслеповатой и беспомощной, она чуралась собственных законов, «по-человечески» обходила их. Весной 1940 г. комиссия военкомата признала Юрия Александровича годным к службе в армии, осенью – «чистым белобилетником» (с. 169, 171). Ничего удивительного: целые ведомства в полном смысле слова бегали от ответственности, ситуацию обычно «спасали» немногие энтузиасты. После «Большого террора» (призванно, помимо всего, избавиться от старой номенклатуры) система стала парализованной: проблемы «решались» с помощью все новых и новых штатных единиц.

Любопытное дело: хвалебные слова о коммунистической партии и Сталине появились впервые лишь в той части мемуаров, которые относятся к первым месяцам войны. Более того, выступления Сталина 6–7 ноября 1941 г. («неяркий по форме доклад и кратенькая речь») «прозвучали как гром», а парад на Красной площади был назван «самым выдающимся фактом Отечественной войны» (с. 190–191). Вероятно, многим так действительно показалось: в ту пору даже «идейные» студенты говорили, что «война проиграна», «немцы попросту передадут всех танками», надо готовиться к длительной войне, укрепившись на востоке страны. Но хотелось бы знать: чего стоило «советское общество», если в экстремальных обстоятельствах рабочие напивались, обыватели мародерствовали, а студенты устремлялись в эвакуацию, опасаясь то ли за свою шкуру, то ли того, что отказ от нее «бросит тень на биографию»?

Великая Отечественная война перевернула судьбы поколений – «классовый фактор» ушел в прошлое, помолодевшее социальное пространство разделилось на «верующих» и «неверующих». Создается впечатление, что в 1944 г. Юрий Александрович, начав литературное сотрудничество с ВОКСом (Всесоюзным обществом культурных связей с заграницей), сам того не заметил, как из начинающего историка стал превращаться в пропагандиста. И ничего удивительного – такова видовая особенность системы. Советская пропаганда (минимально соприкасающаяся с реальной историей) давала ошутимый приработорок – мне известно это по собственному опыту сотрудничества в 1970-х гг. с Агентством печати «Новости». Пропагандистские экзерсисы, действительно учившие работать «оперативно, писать

в разных жанрах» (с. 211), способны, между прочим, не только редуцировать познавательные способности, но и парализовать само стремление к истине. Иногда мне кажется, что видовое отличие нашей историографии до сих пор определяется умением государственности заставить всякого талантливо человека двигаться в «нужном» направлении, подвесив перед его носом морковку.

Студенческие годы Юрия Александровича завершились практически одновременно с окончанием войны. По «производственно-общественным статьям» он идеально подходил для системы – «круглый отличник, молодой член партии, сталинский стипендиат, комсомольский активист», поработавший и на оборону страны, и на политическую пропаганду (с. 213). Неудивительно, что младший научный сотрудник Секретариата Главной редакции истории Гражданской войны в СССР в феврале 1945 г. попал в сферу внимания ЦК ВКП(б). Принимал его сам Г. Димитров. Увы, к хрестоматийно известному образу героического борца с нацизмом на страницах воспоминаний ничего не добавилось. Возникает подозрение: сказалось давление официальных стереотипов.

Напротив, рассказ о работе в «Институте 205» (радиоперехват и пропаганда на внешний мир) привлекает деталями, касающимися его сотрудников. Мемуарист даже поправляет некоторых исследователей Коминтерна (с. 219). Впрочем, о конкретных приемах работы этого сверхсекретного учреждения он не особо распространяется. Примечательно и другое свидетельство: с окончанием войны борьба против «разбитого фашизма» тут же переросла в войну «против поджигателей новой войны»; данный институт стал не нужен, однако его сотрудников хорошо трудоустроили. Хочется задать вопросом: как навыки пропагандистской работы сказались на исследовательских карьерах многих из них?

Как бы то ни было, для меня данные воспоминания – вовсе не объект источниковедческого скепсиса, а скорее обширное поле историографического самопознания. Коллизии эпохи корежат историческую память. «Везет» немногим. Мне кажется, что мемуары написаны человеком, все же основательно отгороженным – воспитанием, образованием, социальным окружением – как от основной массы населения «Страны Советов», так и от номенклатуры. Это сделало воспоминания куда более точными и познавательными, чем можно было ожидать. И все же кое-что настораживает. Судя по тексту, автор практически всегда «правильно» действовал в условиях «отсутствия выбора». Тогда как понимать слова о том,

что «за свою долгую жизнь у меня, вероятно, было немало не слишком благородных дел и поступков» (с. 9). Слов нет, смертному человеку невозможно оставить в жизни один лишь евангельски чистый след. Но, может быть, сомнения историка в безальтернативности юношеского бытия проистекают от неуверенности в правильности подхода к истории страны, с которой он связан слишком интимно?

Невольно вступая в скрытый, бесконечный и безрезультатный спор с мемуаристом, как-то забываешь главное. Текст написан блестяще, с необходимой долей юмора. «Мертвая история возрождается, минувшее становится нынешним, если того требует сама жизнь» (Б. Кроче). Стоит ли требовать большего?

Последняя глава называется «Жизнь только начиналась» и заканчивается словами: «Если неведомые силы, которые нами управляют, позволят, напишу и о последующем. А пока ставлю точку» (с. 231). Остается только надеяться, что следующий том воспоминаний более подробно и откровенно расскажет о том, чего нет ни в нынешних учебниках по совет-

ской истории, ни в сугубо научных трудах. Подлинное прошлое можно разглядеть только через историю поведения погруженных в него людей, какими бы они ни были и какими бы ни хотели казаться.

Сегодня историческая наука переживает не лучшие времена: люди не понимают, для чего нужен собственно историк. Для одних он – прозектор, способный вынести точный вердикт прошлому и указать путь в будущее, для других – актер, стремящийся вдохнуть душу в его омертвевшую ткань и потешить публику. На деле историку суждено разрываться между тем и другим. Но через историю и историков людям все же дается шанс на совершенствование, – человек обязан знать больше своих предшественников, иначе он обречен на видовое вымирание. А потому нужно ценить профессионалов, занятых на «безнадежном» поприще исторического знания.

**В.П. Булдаков,**  
**доктор исторических наук**  
**(Институт российской истории РАН)**

## **Историк в конфликте со своим временем\***

Личность историка всегда имеет право на некоторое внимание, даже в том случае, если он «поражает» коллег своей «непубличностью», живет «ученым-затворником», с утра до ночи просиживая в архиве и не имея «никакого желания “красоваться” перед публикой» (с. 53). Но в отличие, например, от врача историк, только уйдя из жизни (или незадолго до своего ухода), может по-настоящему «рассчитывать» на профессиональный интерес со стороны коллег. По крайней мере, человеческий портрет живущего и работающего историка чаще укладывается в рамки дежурных отзывов, сочиняемых на скорую руку.

Из «Характеристики Павлюченкова Сергея Алексеевича 1960 года рождения, русского, научного сотрудника Отдела политической истории Института теории и истории социализма ЦК КПСС», выданной для представления в специализированный совет по защите кандидатских диссертаций 10 сентября 1991 г.: «Принципиален, доброжелателен. Среди коллег пользуется уважением. Способен вести самостоятельные научные исследования»

(с. 124–125). Вот и вся «оценочная» часть документа, извлеченного вместе с комплексом других материалов из архива доктора исторических наук, профессора С.А. Павлюченкова (1960–2010) и опубликованного в подготовленном усилиями двух десятков его коллег, посвященном ему памятном сборнике. А вот гораздо менее формализованная характеристика из открывающей этот сборник короткой мемуарной зарисовки: «Сергей Алексеевич был человеком замкнутым, закрытым, со сложным характером. Однако это поверхностное впечатление. Он был человеком с тонкой душевной организацией, ранимым и остро чувствующим несовершенство окружающего мира» (с. 11).

Творческая биография С.А. Павлюченкова как исследователя ранних лет советской истории началась накануне ее конца, в годы Перестройки. По-настоящему он раскрылся – в качестве автора 3 фундаментальных монографий: «Крестьянский Брест, или Предыстория большевистского нэпа» (1996), «Военный коммунизм: власть и массы» (1997), «Орден меченосцев: партия и власть после революции, 1917–1929 гг.» (2008), а также участника или руководителя ряда крупных коллективных трудов (в том числе «Россия нэповская», 2002) – за истекшие 2 десятилетия, первое из которых пришлось на 1990-е гг. Именно в то, ныне часто недобрым словом поминаемое время, он

\*Историк и его время: Воспоминания, публикации, исследования: Памяти Сергея Алексеевича Павлюченкова / Сост. В.Л. Телицын. М.: Собрание, 2010. 383 с., ил.